

Александр Степанович Грин

Зурбаганский стрелок



Александр Грин
Зурбаганский стрелок

«Public Domain»

1913

Грин А. С.

Зурбаганский стрелок / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

«Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием. Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех, требующих постороннего внимания, случаях...»

Содержание

I. Биография	5
II. Зурбаган	8
III. Для никого и ничего	11
IV. Астарот	15
V. Горный проход Вига	17
VI. Фильбанк	21
VII. Возвращение	25

Александр Грин

Зурбаганский стрелок

І. Биография

Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием.

Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех, требующих постороннего внимания, случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п., играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, – рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый. Мой отец был корабельный механик; я видел его не часто и не подолгу – он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги; мать же, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения; как помню, он рассказывал о своих плаваниях, случаях корабельной жизни и, неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял: «Валу, все они свиньи, запомни это».

Я не получил никакого стройного и существенного образования; оно, волею судеб, ограничилось начальной школой и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик, я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести, в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи; последнее он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей, у пылающего костра, молитвы, сочиненные мною с Фильсом; одну из них благодаря ее лаконичности я запомнил до сего дня; вот она:

«Огонь, источник жизни! От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед».

Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности. Наш дом стоял у реки, в трех верстах от взморья и гавани; небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в периоде цветения душистыми запахами; просторная, окрыленная парусами река несла чистую лиловатую воду, – россыпи аметистов; за садом начинались овраги, поросшие буками, ольхой, жасмином и кленом; старые, розовые от шиповника, изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль

каменистых дорог с золотой под ярким солнцем пылью, и в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал: «Валу, завтра ты пойдешь со мною на „Святой Георгий“; тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни; однако я не мог положить руку на сердце сказать, что профессия моряка мне приятна: в ней много зависимости и фатальности. Я был настолько горд, что не показал этого, – я думал, что, если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь.

Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее. Она, прощаясь, сказала: «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда, без причины, другим; сторонись людей». Мы были на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку; этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. «Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать», – сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал: «Хорошо», – и этим все кончилось... Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика, и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу», – прибавил он, и это прозвучало у него искренне. Затем, пообещав прислать мне все необходимое – белье, одежду и деньги, – он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал.

Так началась самостоятельная моя жизнь. «Святой Георгий» после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически, стал разговорчивее и живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастья на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения.

С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигая эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха: необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому, весьма элементарному, правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери, девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными; более нежное чувство оказалось крайне непрочным. Мы развелись, и после смерти отца жены поделили имущество.

Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти – и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины, и передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий на первый взгляд короткий вопрос: «Как и чем жить?» – потому что я не знал «как» и не видел «чем».

Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым, – приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью – ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не

более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была – отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами.

В 189... году я посетил Зурбаган, где не был пятнадцать лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный в детстве крест.

II. Зурбаган

Остановиться у родителей я не мог – они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую я менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации – электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцообразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, – делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.

Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел!» – или: «Совершенно правильная диверсия!» Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хассавера, и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения.

Я вскользь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете; например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прерывалось рекламным рисунком и приглашением купить шины в магазине X.

В дверь постучали. Я встал и сказал: «войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого, с белым цветком в петлице, крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись.

– Фильс! Валуэр! – разом произнесли мы, и этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его поседел, а глаза, с навсегда застывшим выражением скупого смеха, обнажали над зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет.

– Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы, – сказал Фильс.

Мы сели.

– Как дышишь, Валу?

– Как попало, – сказал я. – А ты?

– Так же. – Он понюхал цветок и сморщился. – Отвратительный запах, сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно, по очереди рассказывать о себе. Это, не в пример экспансивным возгласам, сократит нам время. Начинай ты.

Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил:

– Я ждал этого; помнишь, Валу, еще мальчиками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной.

Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастье была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети, и я с огромной высоты упал вниз, искалеченный навсегда.

Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно.

– Подарок девицы, – объяснил он. – Я вовсе ее не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом.

Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих, серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода жизни к жарким вихрям костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания.

– Что же у тебя впереди? – спросил Фильс.

– Ничего, – сказал я, – и это без всякой жалобы.

Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Расспрашивать далее друга было неинтересно и даже навязчиво; все, что еще могли мы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива.

– Хочешь развлечься? – сказал Фильс. – Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи.

– Где?

– Здесь, и не далее десяти минут ходьбы.

– Шуты? Клоуны? Акробаты?

– Совсем нет.

– Женщины?

– Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже наверное украсил себя первый поэтически настроенный трубочист, то это более выдает тебя, чем меня.

– Я сам женщина, – сказал я, – хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения? Говори начистоту, Фильс!

– Так не годится, – кротко улыбнулся Фильс, и я в этой улыбке понял его характер более, чем в словах; он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки. – Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь, для усиления твоего любопытства, а косвенно – для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее: странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одиночество во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества, – тоска. Герой времени – человек одинокий, бессильный и гордый этим, – совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все это напоминает внезапно наступившую дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни – два полюса одного настроения – указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно. Простонародье свирепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникарам недурной заработка. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика...

Пока он говорил, смерклось, на улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты в окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подобный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя.

– Это понятно, – сказал я, – время от времени человека неудержимо тянет назад; он конфузится, но недолго; богатая коллекция столетий сидит в нем; так, собственник музея подчас пьет, не пытаясь даже объяснить себе – почему, – пьет кофе из черепа египетского сапожника.

– Зачем объяснения? – сказал Фильс. – Нам в нашей жизни они не нужны. Не так ли?

– Я согласен с тобой.

– Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазлись, так как это заманчиво.

– Хорошо, – сказал я, – пойдём, и если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его.

III. Для никого и ничего

Покинув освещенный подъезд гостиницы, я и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу Гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствующий неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. Вполголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями истекших пятнадцати лет. После жаркого дня холодный, сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчетливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть меж двух каменных заборов в небольшой переулок; у дальнего конца его мы остановились; передо мной была высокая, над каменными ступенями, дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услышал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась, с темным от уличного мрака лицом, большая голова на тонкой, костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя зажатой в зубах трубкой:

– Почему вы опоздали, милейший, и кто это с вами?

– Он может, – сказал Фильс. – Ну-ка, пропустите меня.

Мы вошли и стали подниматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо, с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока.

До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор; в самом конце его освещенными щелями рисовалось римское I закрытой двери, за нею слышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал; думая, что это относится ко мне, я спросил:

– Что именно?

– А? – вяло отозвался он.

– Я говорю, что не расслышал, что вы сказали.

– А! – Он зашипел трубкой. – Я сказал «тру-ту-ту» и «брилли-брилли», – и, так как я, опешив, молчал, – добавил: – Моцион языка.

Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее.

В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен, на плетеных стульях, сидели четыре человека; еще двое ходили из угла в угол с руками, заложенными за спину; один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водевильную арию; сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным, мелодическим свистом. Третий играл сам с собой в орлянку, подбрасывая и ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол, – громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал:

– Друзья, вот этот человек, который пришел со мной, – наш гость. Его зовут Валуэр. – Затем, обращаясь ко мне, продолжал: – Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных.

Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен.

Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были: Фильс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильса вы знаете. Эсмен, с толстой нижней губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами, напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив; темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий, сутуловатый Гельвий имел тонкие, бескровные губы, длинные, медного цвета, волосы, серые глаза и высоко поставленные, монгольские брови. Бартон, с короткой, бычьей шеей, сильным дыханием, усталым, багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному, пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным, ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в костюме обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покроев. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста; большой, умный и чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком.

Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось: открытый, прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и (вероятно, бессознательным) холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаясь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами; наконец вспомнил: то были каторжники на пыльной дороге между Вардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях, глухо звеневших при каждом шаге, шли они, вне мира, к бессмысленному труду.

Фильс тоном учителя произнес:

– Валуэр, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали «Союз для никого и ничего», лишенный в отличие от других союзов и обществ так называемой «разумной цели». Первоначально нас было семнадцать человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов – испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами то же, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость – все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно.

Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильс корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов; я словно заглянул в белую, дымчатую пустоту без дна и эха.

– Прилично взвешено, – сказал толстый Бартон.

– Слог и стиль, – подхватил Эсмен.

– Венчать его крапивой и розгами, – отозвался Гельвий.

– Перехожу к моей выдумке, – сказал Фильс. – На заводе Северного Акционерного Общества есть паровой молот весом в шестьсот пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами.

– Пыль и брызги! – расхохотался Стабер. – Недурна выдумка, Фильс, но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее.

– Деньги пустят, – сказал Фильс. – Зачем нам деньги?

– Мы это обсудим, – решил Карминер. – Давайте отчет.

– Да, отчет, давайте отчет! – заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях.

– Три месяца хожу, а каждый раз интересно, – сказал, облизываясь, Эсмен.

Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатыми губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера.

– Говорите, – сказал Фильс. – Ну, вы первый, что ли, Карминер.

– Я, – заговорил ворчащим голосом Карминер, – играл с бешеной собакой около бойни.

– Что вышло из этого?

– Укусила она меня.

– Прививку будете делать?

– Нет.

– Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться.

– Я утоплюсь.

– Дело ваше. Свидетели кто?

– Два мясника, – Леер и Саваро, Приморская улица, номер шестнадцать.

Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконическом диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, даже торжественны.

– Мюргит, – сказал Фильс, – вы как?

– Почти ничего, – простодушно ответил юноша, краснея. – Я только обошел перила речной башни.

– Свидетели?

– Стабер и полицейский Гунк.

– Эсмен, вы?

– Я, – сказал Эсмен, – увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамвай и автомобили. Ни один не переехал меня.

– Это и видно, – заметил Фильс, улыбаясь мне. – Свидетели?

– Трое мальчишек-газетчиков номера восемьдесят семь, сто четыре и двадцать шесть.

– Стабер!

– Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах.

– Свидетели?

– Капитан Хонс, полковник Риго и врач Зичи.

– Бартон!

– Вчера, – загудел Бартон, – я выплыл через пороги у Двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к Новому мосту уже без весел. Свидетели: хроника газеты «Курьер».

– Почтенно, – сказал Фильс. – Ну а вы, господин Суарт?

Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса.

– Я, – тихо заговорил он, – выпил из трех стаканов один: два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым.

– Свидетели?

– Мой брат.

– Теперь Гельвий.

– Я ничего не делал, – сказал Гельвий, – я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом.

– Свидетелей не было, – кратко заметил Фильс. – А я, господа, повторил несколько раз вот что, – Фильс показал револьвер. – Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас.

– Если не будет выстрела – только чикнет, – заметил Эсмен.

– Да, чикнет, – спокойно возразил Фильс, – но ведь это интересно мне.

– Разумеется, – подтвердил Гельвий. – Ну, покажите! Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление.

Фильс, под внимательными взглядами членов оригинального союза, сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движения пальцев правой руки Фильса; он сдвинул брови, как бы сосредоточиваясь на чем-то важном и известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск.

Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец разmozжит себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому, и напряжение мое, встретившее, вместо ожидаемого – по чувству нервного сопротивления, выстрела – металлический спуск курка, – осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что сделал Фильс, отчасти из солидарности; но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственное неудержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены союза критиковали выходку Фильса, находя ее, в общем, мало эффективной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекуртив барабан, сказал:

– Фильс, мы всегда ведь играли вместе, посмотри, что будет со мной.

– А?! – сказал Фильс печально. – Тебя тоже знобит? Хорошо; прощай или до свидания.

Я закрыл глаза и, невольно холодея, нажал спуск. Курок щелкнул возле уха отвратительным звуком; я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм.

Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о «Законах Мертвого Духа», а Бартон затеял с Гельвием спор о гашише; Гельвий сказал: «Гашиш плюс я – другой человек. Я желаю быть я». Бартон возразил: «Я же не хочу этого, я надоел себе». Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания.

– Что же, – сказал на пороге Фильс, – как зонтик?

– Зонтик, – заметил я, – странноват, – да. Но лучше смолчим. Я ухожу без сожаления; вкусы различны.

– Так, – сказал он, прощаясь, – к этому не привыкнешь сразу. – И я вышел на улицу.

IV. Астарот

Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза; в выражении глаз их, смотревших на меня, не было ни участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали; полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Странные на первый взгляд поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска – все это, по-видимому, бессознательно, поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах. Люди эти притягивали и отталкивали меня, что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улице: смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных, людей, и внимание это не лишено симпатии; но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее несвойственной, и та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песне или разгуле.

Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня, до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек.

Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда уяснит главное в поразившей его внешности; подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге; искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но не изученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты.

Незнакомцу на взгляд было сорок пять–пятьдесят лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококостным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шапки, прятались уши; глаза сходились у переносья, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо... От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего, именно, – все струилось; другим выражением я не точно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека; упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам: опущенные углы бровей, глаз и рта, с твердой линией губ; падающие в бороду усы; волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие, благодаря густоте, подлинную иллюзию тяжести, – все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнакомец был одет в черную суконную блузу, серый, поверх блузы, жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах; единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами.

Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья; он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее – представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике.

– Это охотник, – сказал слуга, презрительно посмотрев в окно, – дикий и необразованный человек; он, когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадью.

– Очень хорошо, – сказал я. – Мне хочется поговорить с ним.

Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услышав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку.

– Астарот, – сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания.

– Что вы скажете насчет хорошей охоты?

– Доброе дело.

– Устройте мне это.

– Где?

– Где! – но вы должны лучше меня знать «где».

– Я хочу сказать – близко или далеко от города? Чем дальше, тем лучше; если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте.

– Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу.

– Что ж! – сказал Астарот после минутного размышления. – Выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой; там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг Чистых Озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко, – дороги мало удобны.

– Возьмем хотя бы медведей.

– Как хотите.

– Сегодня?

– Да.

– Где? Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья.

Астарот удивленно посмотрел на меня: ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне.

– Тогда, – холодно сказал он, – я буду ждать вас у реки, в харчевне, на углу Набережной и Полевой улицы, но не долее двух часов дня.

На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрой; это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными, прекрасными глазами; когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив таким образом, мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. «Не повернуть ли назад?» – твердила усталая мысль... Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь; остальное дополнялось воображением. В состоянии этом была своеобразная прелесть сознанного и мучительного равнодушия; однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая Астарота.

V. Горный проход Вига

Когда я зашел в указанную Астаротом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении, помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Астарот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол.

– Ну, вот, – сказал товарищу Астарот, – видишь, он здесь! – Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне: – Он, сударь, поедет с нами; его имя – Биг, это – один из отважнейших людей, но он скромн и молчалив.

– Уж ты... скажешь, – краснея, пробормотал Биг унылым голосом. – Вот, честное слово, не люблю я...

Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся.

– Биг, нам до заката не успеть в горы, – сказал он. – Выйдем – и марш.

Через кухню мы прошли на маленький двор, где у коновязей фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливые лошади. Маленькая кобыла Вига исподлобья, как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что, несколько медленнее, сделал и я; затем, выехав на солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые, с высокой травой, луга, направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака.

Держась рядом с Астаротом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания.

Черные глаза Астарота, прячась от солнца, съезжились и ушли внутрь, а Биг, рассеянно смотря по сторонам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать: «Так-то. Едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд; вода, шумя у ног лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником; все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины; от них пахло сыростью и землей; одинокие деревья имели сторожевой вид; холмы, растягиваясь подножиями в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, проясняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти так же далекими, как от Зурбагана.

Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было, но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена Астарота, стертые от езды, заставляли меня машинально сообщать, сколько времени они ему служат; смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающий из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным без операции смотреть в лицо не понимающему его брату.

Так ехали мы час, и два, и три, и, наконец, унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полной валежника, ям, пенных горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади.

– Лет восемь назад, – сказал мне Астарот, – нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место – шесть тысяч футов, где начинаются ледники.

Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, навывлет; мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором; она попала нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру. Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты.

– Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель, – возразил Биг.

– Прекрасно, не будем спорить.

Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, обросшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами; здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась: лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху, – это и был проход Бига, как назвал его Астарот. Здесь все остановились, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике и измучат лошадей; поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем вести поевших лошадей к себе.

Астарот – впереди, за ним – Биг и я – сзади – углубились в расселину, оставив лошадей без привязи пастись у ручья; я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрое от выступившей кой-где подпочвенной воды, – было весьма неровно. В крутых, тесных изгибах стен, высоко над головой поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов; сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но, – что служило для меня развлечением, – я начинал чувствовать голод; когда, пройдя сажен сто, спутники мои остановились на сухом месте – гряде земли – и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра, я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелье низко оседающим дымом и красной игрой теней; в этом фантастическом освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем. Наш ужин был скромн, хотя съеден по-волчьи. Дневной свет, вяло, но внятно позволявший различать внутренность горной расселины, угас; несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружавший костер. Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и вьюгах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что она носит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков: первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой голов, а седьмая была налицо.

– Поэтому она и жива, – заметил Биг, – все стреляли по остальным, кроме седьмой.

– Да, – кратко сказал Астарот и прислушался к тишине и на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него. – Ты слышишь что-нибудь, Биг?

Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее; с минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня – в себе.

Астарот, покачав головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле.

– Биг, – прошептал он, – вы подождите здесь, я схожу и скоро вернусь.

– Что случилось? – спросил я.

– Вероятно – обман слуха, – уклончиво, беря ружье, сказал Астарот, – но лучше мне прогуляться.

– Я не думаю, – заметил, привстав, Биг, – это почти невероятно.

Астарот пожал плечами:

– Вот мы увидим, – и он, шурша землей, исчез во тьме.

Биг стал рассеян. Как бы случайно вытаскивал он из костра одну головню за другой и тушил их, засовывая в золу. Не считая уместным праздное любопытство, я молчал. От пламенного костра осталась кучка огненнозорких углей, скупое озарявших землю, складной ножик и бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту невидимой, над головами, листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это, в силу его законности, передалось мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие и странные звуки, но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня.

– Вы не слышите? – тихо спросил он.

– Нет. А вы?

– Как будто бы – да!.. – Биг перебил себя: – Но это возвращается Астарот.

Осторожные, медленные шаги, в силу своеобразной акустики прохода, звучали со всех сторон, как будто к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное, нервное ощущение, но, когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло.

– Костер, пожалуй, не помешает, – сказал он, присев на корточки и раздувая брошенную им поверх углей охапку древесного лома; он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб. – Нельзя идти дальше, – заговорил Астарот; он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заплоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел без улыбки и оживлен; веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз; в нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это на счет изменчивых колебаний пламени; однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тотчас же отвернулся к Бигу.

– Я прошел, – начал он свой рассказ, – так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я слышал шум, какой бывает, когда о крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса. Я не мог ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось вполголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме – из волонтеров Фильбанка; он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены я заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся.

– Хорошо, – медленно сказал Биг, – подумаем обо всем этом. – Он закурил трубку. – Надо отдать справедливость Фильбанку: он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зурбагане.

– Утром? – спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен.

Астарот не дал мне времени поправиться.

– Утром светло, – сказал он. – Ночью следует опасаться засады – если не в проходе, то при выходе из него; так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон.

– Нам надо вернуться, – сказал Биг. – Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это, интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда?

Астарот пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига; оба они не обращали на меня никакого внимания. Но я и не претендовал на это; мне нравилось безответ-

ственное положение зрителя; давая же советы или пытаясь – вообще – проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне.

– Мне пришла в голову одна мысль! – Астарот с живостью подошел ко мне. – Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший; послушайте. Можно остановить Фильбанка. В полуверсте отсюда проход образует угол; стены круты и высоки; более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, и это мы всегда успеем, но если вы не очень боитесь потерять жизнь – Фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой и им земляной вал.

– Филь... – начал Биг, – их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится. – Он мечтательно улыбнулся: – Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота? Вы должны тогда посмотреть на его работу.

Я понял, что это не шутка, и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы, – чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я встрепенулся.

– Хорошо, – сказал я, – мне нет причин отказываться, я с вами.

– Еще раз!

– Да!

– Еще раз!

– Да!

– О! – сказал Астарот, оставляя меня в покое. – Если так, Биг, то не будем терять времени! Скачи и дай знать в Зурбагане, но торопись; середина ночи, путь не близок и труден, патронов немного, оставь свой запас. Есть?

– Есть!

Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатления, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное.

– Спешите, – сказал Астарот, – возьмем по головне – и за дело!

VI. Фильбанк

Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это-то и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему; обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной.

Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпей, мы шли так скоро, как позволяли условия, и остановились, когда Астарот сказал:

– Мы у поворота. Дальше идти не стоит: здесь наивыгоднейшее для нас место.

Головни, догорев, угасли; по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Астарот, нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мы ощупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход; наконец покончив с этим, я чиркнул спичкой и поджег наваленную у стены груды.

Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место (чтобы облегчить труд), мы стали vorочать камни, вкатывая их на возвышение руками и колыями. Поворот уходил влево зубчатым гротом; расстояние между почти совершенно отвесными, с выступами и трещинами, стенами, в том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение усиливалось непроницаемым мраком, границы которого далее весьма скудного предела бессилем был раздвинуть огонь.

Охотник укладывал и носил камни не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд, шириною в шесть или семь футов, мы положили легко, второй был возведен уже медленнее; промежутки мы заполняли землей, разрыхляя ее топором Астарота и палками; чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог подымать приблизительно на высоту груди некоторых камней; тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, напротив – особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до головокружения; с наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь, в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда, для того, чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу, – но уже, невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал; в одну из таких минут охотник сказал:

– Довольно! Заграждение на высоте нашего роста. Устроим еще амбразуры и прекратим.

Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу, у подножия заграждения, устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено и поперек ущелья вырос настоящий тупик, – я сел, чувствуя слабость: устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки. Меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и, в состоянии полного изнурения, уронил голову на руки.

– Отдохните, я спать не буду, – сказал Астарот, и я, позабыв все, уснул. – Пора, – сказал, нагибаясь ко мне, Астарот. Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря: «Вставайте!» – Вставайте! – повторил Астарот, и я нервно вскочил.

Костер потух. Было еще темно, но сверху ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода; ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Астарот, стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой; у него был очень деловой вид.

Я подошел к нему, взяв ружье, но, видя, что он положил свое, – сделал то же.

– Через полчаса, а может быть, и меньше, – сказал охотник, – мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и – по-своему – оживленная.

Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной.

– Мы перестарались, Астарот, – заметил я, – можно было устроить тупик пониже.

– Нет!

– Почему?

– Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более места в высоту. В противном случае они закроют собой цель.

– Астарот, – сказал я, – меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?

– Да. Почему? – рассеянно ответил он. – Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю. Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну сидеть, а что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасные охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь, и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это невысказано. Всегда кто-нибудь скажет: «Вы поступили правильно, Астарот».

Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудиккий человек, считающий несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы.

– Даже так?

– Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй Астарот, полный двойник мой не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий – ему жить или мне? Мы подвергаемся теперь опасности; поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где – не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой же второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе, у богатого помещика, именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкапулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его, на глазах бывшего владельца, в камин; огонь сделал свое дело. Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому, что Фильбанк не скажет: «Правильно, Астарот!»

С глубоким изумлением смотрел я на этого – воистину – загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку.

– Фильбанк наступает, – сказал Астарот, – будем встречать гостей.

Небо прояснилось; раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание, шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Астарот не отрываясь смотрел через заграждение; настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул; отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом – остановились.

Астарот выстрелил, затем – я, целясь в ближайшего; тотчас же два человека, пятась и вскрикивая, упали назад, и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл, слабые вначале раскаты гула, полного воплей, крика, звона и угрожающего смятения, отраженные глухим эхом, усилились до громоподобного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись; но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарота.

Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Астарот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками, солдаты, и в этой сосредоточенно-деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей Астарота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели, колыхаясь, штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный оттенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими, отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немого восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию.

Прикрытый камнями, целясь в узкую меж ними, не шире трех пальцев, щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но, опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел видел направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы, – но он поражал их и в таком положении, и именно – в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие; я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье: ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы, один на другом, лежали более чем внушительно.

– Слушайте, вы! – вскричал охотник. – Слушайте! Скажите Фильбанку, что он не пройдет здесь. Я не один; нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницу! Уходите!

Никто не ответил ему, но и я и он знали, что те, к кому были обращены эти слова, – слышат.

– Вас двое? – неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке; он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия; как бы вспухшие глаза его на мясистом бледном лице, лишенном растительности, тонкий, словно запечатанный, рот – были презрительны; он смотрел, прищурившись, и медленно улыбнулся. – Вас двое? Каждого из этих двоих я повешу за ноги; я возьму вас живьем. Я – Фильбанк.

– Разбойник, – сказал Астарот, – если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным.

– Бродяга, – ответил, темнея, Фильбанк. – Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдерживать слово. Долой из этого курятника! Беги!

– Повелитель, – насмешливо возразил охотник, – почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед – сила на нашей стороне, но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить; самое большее, что мы схватим за шиворот двух.

– Хорошо, – сказал Фильбанк. – Помни! – И он скрылся.

– Это – атака, – сказал, хватая меня за руку, Астарот. – Но нам, может быть, не хватит зарядов. Биг не возвращается. Вы готовы?

– Вполне.

Высокий торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, расступилась, давая упасть мертвым; их было не меньше шести; шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию – и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей; хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них. «Попробуйте окопаться!» – крикнул охотник. Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными; у меня же и Астарота были именно магазинки – Шарпа и Консидье. Шарповские значительно легче, но Консидье для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит, с небольшою ошибкою, мушку.

Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд, – для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой; некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад, и я вспомнил слова охотника о высоте заграждения. Иногда, сбитые пулей, каменные брызги хлестали меня в лицо; я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня.

– Двадцать пуль я могу уделить им, – сказал охотник, – двадцать первая для меня. Приберегите и себе, – прибавил он, помолчав, – а то ведь Фильбанк сказал правду.

Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить, без риска остаться живым, еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал.

– О Биг, Биг! – вскричал Астарот, хватаясь за раненое ухо. – Скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды! Ведь это трупы!

И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой грудь, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Астарот рассмеялся.

– Довольно! – сказал он. – Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли? Нет. Вы слышите? Это – Биг и солдаты!

Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам, вооруженные люди, и я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.

VII. Возвращение

Меня вытеснила толпа солдат, и я очутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел Биг.

– Правильно, Астарот! – сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе.

Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто, чуждо раскатам свалки смотревших на живую запруду, истребительную возню.

– Я сделал это для себя, – сказал Астарот, подумав, – и более мне делать здесь нечего. Уйдем, Биг. Не следует дожидаться конца.

– Да, – подтвердил Биг, – через полчаса здесь будут орудия.

– Тем лучше. Ты останешься?

– Нет, – это дело сделают без меня.

Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя, лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу; затем Биг нагнал ехавшего впереди Астарота, и они, тихо разговаривая о происшествиях дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы, а я, следуя за ними, спрашивал себя: точно ли произошло все, в чем был я свидетелем и участником? Я грустил о том, что так скоро кончились пленительный бой и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения; но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение и был счастлив, но не желал просто драться, так же, как Астарот.

Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чащи крупным дождем золотых пятен, озаренных листьям и отвесных лучей; цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок вились по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда, пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю, в особом и новом отношении к ним, все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы, как сокровища мира, и главные из них были: свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать; двигался, но во имя прибытия; смотрел, но смотреть было приятно.

Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как подымаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птица кричит чистым, задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сию, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. И все, что я слышал, видел, знал и чувствовал, – было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо.

Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь.

Невольно, глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки Берганца, нищего поэта, умершего из гордости голодной смертью в мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи; и я мысленно повторил его строки:

У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу
Выстрел, раненный навывлет, я упал на берегу,
Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел,
Палец мой лежит на спуске; точно выверен прицел.
И умолк лиса-убийца; воровских его шагов
Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов.

Лживый час настал голодным: в тишине вечерней мглы
Над моим лицом холодным грозно плавают орлы,
Но клевать родную падаль не дано своим своим,
И погибшему не надо ль встать на хищный возглас их?
Я встаю... встаю! – но больно сесть в высокое седло.
Я сажусь, но мне невольно сердце болью обожгло,
Каждый, жизнь целуя в губы, должен должное платить,
И без жалоб, стиснув зубы, молча, твердо уходить.
Нет возлюбленной опасней, разоряющей дотла,
Но ее лица прекрасней клюв безумного орла.

Вспомнив это, я вспомнил и самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, где жил, на розовые и синие крыши города и простаивал у окна часами, наблюдая, без изнурительной зависти, с куском хлеба в руке певучее уличное движение, полное ярких соблазнов.

В полдень я простился с охотниками. Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один с своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился, не раздеваясь, в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе Бига, но это было, и это – судьба души.